ТАК ЛЕБЕДИ, В РУЧНОМ ОПАЛЕ ПЛЕЩА, ЛЮБУЮТСЯ СОБОЙ

Есть трагедийные фигуры в театре: всю жизнь они героически борются за свое искусство, за свою мечту. Марина Тимофеевна Семёнова никогда не боролась ни за что. Выдающаяся балерина просто очень любила публику, и щедро раздавала ей то, что дано было только ей одной, но дарованное это оказалось так ново, громадно, значительно и принципиально, что его хватило дожить и до монографии, и до геройства, и до неподдельного поклонения! А жизнь — она ещё ни у кого никогда не была легкой. Жизнь — это страдание (тогда она вдвойне интересна!). Самая противная жизнь та, что прошла без мук. Когда всё радостно — это не жизнь, а Петрушка у Стравинского! Семёнова многого себя лишила: одиночества, отчаяния, придуманности, невоплощенности... — и как полно выправилась за двадцать семь лет своей карьеры примы-балерины!

На сетования своих учеников, что им никогда до неё не подняться, Семёнова уверяет их, что они «способны, очень способны, талантливы, только пусть работают и верят, что это самое в тот момент нужное» (так вот оно что!): то, что «Ваганова стояла надо мной до последнего моего дня в театре...». Еще бы! Она её обожала! Её одну, своего «любимого первенца».

Легенды рассказывают, что когда ежегодно Марина Тимофеевна приезжала к ней «чиститься», закрывались все двери и стоял непролазный гвалт, потом обе тихо выходили, мирно беседуя о понятном только им двоим: учитель и друг.

И ещё рассказывают очевидцы, как уже в самом конце войны в «Мариинке» давался в память Петипа юбилейный спектакль «Спящая красавица», где каждый акт Аврору должна была танцевать иная исполнительница, и как другие, тоже знаменитые, Авроры приехали в Ленинград и репетировали за две недели, а

Семёнова явилась в театр за полчаса до спектакля, посыпала голову «золотом», встряхнула измятой розовой пачкой, натянула её и сказала с характерной интонацией: — «Я готова», — и танцевала так, что одна из Аврор грохнулась об сцену пару раз от зависти! Так уверяют свидетели. Может, это и правда, а может, и легенда, но человек понятнее и реальнее в легенде, а не в двух-трех строчках дотошного архивариуса!

«ТАК, — говорит самый лучший в мире поэт, — ЛЕБЕДИ В РЕЧНОМ ОПАЛЕ ПЛЕЩА, ЛЮБУЮТСЯ СОБОЙ».

В Семёновой любовались собой новая эпоха, новая жизнь.

Её собственному чувству предлагалось выбираться из той дешевки русского безвременья — искусства петербургского «ренессанса» со сладким выражением. Перебравшись в Москву и увидев в передовой театральности Художественного театра наследственность, питаемую каждодневным зрелищем, она поняла, ЧТО в отошедшей культуре не было так сродни ей.

Она показала, что классический балет безграничен, только умей пользоваться этими корнями (а если не можешь — ты не артист!).

Цитирую сам себя: «ВАЖНО В ИСКУССТВЕ ТОЛЬКО НАЛИЧИЕ СИЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ВИДЕНИИ И ДУХОВНОМ ЕГО ОСОЗНАНИИ. И ТОГДА ВСЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ БУДУТ ВСЕГДА ЗАКОНОМЕРНЫ И УБЕДИТЕЛЬНЫ ПО-СВОЕМУ», и добавляю: плюс характер. А если характер не соответствует тому, что от артиста требуется как от художника, ничего не выйдет (у него характер, например, путешественника, а ему нужно стоять у балетного станка, и он не выдерживает и всё равно уходит путешествовать!)...

Её большой поклонник Махмуд Эсамбаев ехидно предупреждает: «Пишите – пишите, всё равно никогда не поймёте, что это такое – СЕМЁНОВА!»

А понять очень нужно. Очень! Без усвоения того пластически нового, что она нашла, ничего не выйдет и не будет сил противостоять разрушению: ни ора, ни Петипа не позволяют танцевать «с дымком» или проходить по сцене со шпицем, во как прямо-таки Бетси Тверская! (Какая-то бешеная акробатическая сексуальность, бурлеск для Росинанта, сцена циркача с удавом: он устал, она всё время обвивается около него и показывает, как она хочет!). Всё это потом так же ещё и в «Анне Карениной», и в «Чайке». Да заниматься этим — всё равно, что выйти на Красную площадь и заорать: «Да здравствует Гитлер!» или «Долой русских из Москвы!», но никто этого не видит, а из дерьма проклюнувшееся новаторство процветает! (Да и хватит этой новаторше уверять, что она «ищет идеал»! Её идеал — это только выступать в цирке с арбузом: батман, шпагат, захватить арбуз и выстрелить им в третий ряд второго яруса!)...

«А ГДЕ ЖЕ ТЫ МАЛИНОВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, РУССКИЙ ЛЕБЕДЬ В ЧАШЕ ЗАРЕВОЙ?»...

Её партнер, милый Преображенский, покойный, так и говорил: что в «Лебедином» ТОЛЬКО ОНА, даже затерявшись в кордебалете, ощущалась публикой как ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА, как КОРОЛЕВА ЛЕБЕДЕЙ... ...вот тогда настоящая балерина!

В мире есть много прекрасных балерин (имена эти общеизвестны), но связывать именно её с ними может только общность страданий в искусстве: эти страдания одинаковы для всех. Из высказываний же именно о её явлении (помимо хрестоматийных), известных мне единственному, могу поделиться с публикой одним. В недавней случайной беседе о ней один скромный актёр Художественного театра задумчиво сказал мне: «Семёнова — ЭТО ОДИН РАЗ НА ПЛАНЕТЕ». Вот-с.

И осмысливая её феномен, я могу (подбираясь и догадываясь!) определить его ТОЛЬКО через высшее искусство слова! Скоро заканчивается не просто столетие, но и начинается новая эра, и надежда на то, что будет (даже и через ещё одну тысячу лет!) произнесено что-либо сильнее, чем сказали трое наших(!) соотечественников, не остается, а содеянное ею в пластической интеллектуальной культуре танца ПОДОБНО продиктованному ими на весь мир слову!

Ах, всего не рассказать!.. «ДЕЛО, — говорит один из них, непостижимый старик яснополянский, - НЕ В СЛЕПОЙ КИШКЕ, А В ЖИЗНИ И СМЕРТИ».

А у другую, у Платонова, герой улыбался так грустно, «КАК ПРИ ОТКАЗАННОЙ ЛЮБВИ». Да куда же всё зовут и зовут они нас!?

«ЭТО КОНИ В ПЕТЕЛЬНОЙ ПОГОНЕ РАСПЛЕСКАЛИ БУБЕНЦЫ В КОКЛЮШКАХ...» (А это Клюев, конечно).

Как они не умирали всякий раз после таких строк?! И как она не умирала всякий раз после своих спектаклей?! — это же одно и то же:

«КРОВОХАРКАНЬЕМ БОГ ЗАБОЛЕЛ — ОТТОГО И РОССИЯ ПУРПУРНА».

Она очень русская актриса — этим и подняла всех. У неё и Китри была русской «бой-девкой», и грустная Панночка величавая, и полнокровная Жизель, и самозабвенная Золушка... — по-русски горькими, по-русски трагическими. «У РЕЧНОЙ ПУТЛИВОЙ ГЕРАНИ В СЕРДЦЕВИНЕ КРОВОПОДТЕК». И Мирандолина была русской у неё, и Барышня-Крестьянка, конечно же... А потому горькими, и трагическими, что горечи и трагедий хватало собственных от и до: ОТ «дружеского» совета преуспевающей товарки Ляли: «Ой, Маринка, ты сегодня йогу не очень-то тяни, тебя после второго акта всё равно придут арестовывать, мне мой Семён говорил!» (А я выхожу в па-де-де, танцую — а сама зависима от ужаса: у меня дома двухмесячная Катька, — рассказывала она через много лет одному своему ученику), ДО той минуты, когда она не убоялась с балкона прощально помахать рукою мужу, уводимому в вечную разлуку с жизни...

«СЕРДЦЕ НЕ ЗНАЕТ САМО — ДВАДЦАТЬ ЕМУ ИЛИ СОТНЯ».

Может быть, она отвергала всем своим существом те иллюзии страстей, которые держат во власти всех, — все те украшения, за которыми скрываются будущие страдания... И не заглядывала в будущее, которое предопределено.

Недавно её балетная коллега в своём юбилейном интервью всех-всех перекусала (её, правда, по-прежнему ставят и над собою, и над всеми!). Маленькая она была балетная актриса. Если ту «боевую» Лялю Семёнова пренебрежительно называла «палочкой-выручалочкой», то эта и «выручалочкой» даже не была. А когда не можешь выявить себя в искусстве, ищешь самоутверждения в личных отношениях, теряется масштаб вещей, и живёшь только горечью противоречий твоего и чужого характера, твоей воли и чужой. Да и уроды могут плодить только уродов, чтобы все помнили только их самих: из сегодняшнего столичного хореографического училища («академии»!) могут по-прежнему выходить танцовщицы только с ещё более толстыми коленками!.. Подруги Семёновой заорут тут же, что иудеи тоже были ладненькая и что сама Бабанова Мария Ивановна говорила восхищённо, что на сцене она была «как куропаточка»...

Публика всё ведь помнит — и уверяет сейчас, что она была похожа ещё и на Снегурочку, и на Алёнушку из русской сказки...

А той сценической товарке Семёновой («Соньке» — как она зовёт её невзлюбиво и приятельски) только асфальт бы укладывать на тех её коленках или молотобойцем работать!

А она вылезала Тао-Хоа танцевать, но очевидцы свидетельствуют, что публика начинала разбегаться сразу же, как только показывалось Сонькино корыто вместо ножки Тао-Хоа...

И не думаю я, грешный, что даже наши так называемые корифеи сцены уж были интересны и вкусны по-человечески (и даже какая-либо Обухова, теребившая кружевной платочек: «Что это сердце так сильно бьётся»!). Но если она это делала, значит, всё это было нужно! Барсова, Шумская, Алексей Масленников, Шаляпин, Фирсова, Нежданова... — говорит, — могу умирать спокойно: у нас есть колоратурное сопрано... Это она о Вере Михайловне.) Но Бог весть какое великое дарование Нестеренко, но вот он весь мир подмял, потому что это РУССКОЕ ИСКУССТВО, потому что у него (Нестеренко) есть ШКОЛА. А без школы ничего не бывает.

Русская школа. И русское искусство на мировой сцене — вот как это называлось и за что платились бешеные деньги!

А если нет школы... Нет, не так: если полжизни посвящено агрессии (но танцевать-то всё равно на русских ногах, ноги-то при этом всё равно были русские!). А так: если полжизни посвящено агрессии на принципы Петипа, то можно (пока ещё не на костылях) подрядиться за миллион долларов демонстрировать одежду Парижу! Всё тогда можно! Можно наброситься на самую распрославленную нашу балерину «уедать» Семёновой: «Вот ты в наградах (она и впрямь вся в звёздах, как знатная доярка!), а Семёнова — лучшая».

Поздно спохватились! Теперь уже никто не поверит, что лучшая балерина мира — это Семёнова! Поздно. А я сам был свидетелем, как на симпатичное пришептывание покойной В. П. Гердт, что «если бы Мариночка не была такой ленивой, она была бы самой лучшей балериной», — Чабукиани тут же огрызнулся: «Ну вот ещё — «была бы»! Она и была, и осталась самой лучшей» (Вопрос же о лени её я не комментирую. Замечу только, что Пушкин считал леность лучшей похвалой поэту...).

А набрасываться стало сейчас принято (от зависти!) на неповторимую Парашу, Джульетту, сенсановского Лебедя, то есть набрасываются, не жалея всё-таки чудесную балерину, хоть и сдавшую позиции художника большого вкуса и хватающуюся за инерцию внешних положений...

Но вот зато как талант — так «банк»! Вообще всё с банком: и Станиславский, и Семёнова, и Толстой. Какой банк?? А такой: её тёзка (превосходная балерина Кондратьева) рассказывает: двадцать лет танцует в Большом, двадцать лет ходит в её класс и двадцать лет каждое утро слышит одно и то же: «Ну что, такие-сякие-переэтакие, задница отвисает, наблудились, ногу поднять не можете! Ничего не можете. Ах, как хочется красоты!»...

Толстой на правде помешался (он так и говорит про себя безжалостно: «пункт помешательства»), Платонов — на простых людях трудовых, без которых «народ неполный», Клюев (обессмертивший духовную суть крестьянства и открывший в русском языке тайны сердечной мощи тоски и величия) — на России, она — как красота. Всё правильно.

Вот потому и не сможет им никто ничего противопоставить «даже и через еще одну тысячу лет»! И им, и ей соответственно.

Фибра, что ли, нужна тут особая, наверное, чтобы это понять другим и учувствовать!

Встретил как-то вечером случайно уже незадолго до его смерти известного Эльяша. «Иду, — говорит, — из Большого, с «Жизели», с Бессмертновой... А я его сразу про неё. «Ах, чу что вы спрашиваете, — отмахнулся равнодушно, — НИГДЕ, НИКОГДА, НИ ДО И НИ ПОСЛЕ!»

Таково было её искусство, устоявшее стольких!

И многоликость Семёновой всё оттуда же — из клюевского словесного запаса: у кого было четыре миллиона (у Шекспира — сорок тысяч, у известной актрисы Раневской — сорок, из них тридцать девять — мат). То, что она рано почувствовала досадную нелепость некоторых балетных положений и имела смелость это высказывать (и разрушать!), только говорит за целостность её мировоззрения. Швырнула, рассказывают, в большое своё начальство увесистой чернильницей, разбушевавшись, и пришлось этому Самоеду тут же как миленькому выкатиться из Большого театра!

«И ПОМЯНУТ ПЛИСКОЮ ДЕРВИШИ СЕРДЦЕ — РОЗУ СМЯТУЮ В НАРЫМЕ». Её не удалось смять.

«В жизни — мелковатые черты лица, а на сцене — всегда! — русская красавица и никто другая» — это всё из той же моей коллекции слышанного от свидетелей её жизни в искусстве.

Я знаю её интеллигентность. Сказал бы — «любуюсь», «восхищаюсь ею», но ведь интеллигентность — это всего лишь и только то, ЧТО ИДЯ ПО ЖИЗНИ, НЕ РАСТАЛКИВАТЬ ДРУГИХ ЛОКТЯМИ, НЕ ИДТИ ПО ТРУПАМ, и больше ничего! Ни тебе трёх университетских дипломов, ни пяти языков, ни драгоценных финских костюмов (обсыпанных перхотью!), ни даже премии нобелевской... — ничто это не свидетельствует об интеллигентности! Ни-ки-ки!

А то сейчас все — от Дудинцева с Плисецкой до этого говорящего на русско-чеховском языке Лихачёва (такого медового правнука!) — набились в определении интеллигентности. Ни мысли, ни блеску, ни охвата, ни наполнения, ни интеллекта! (Окуджава — интеллигент! Обхохочешься!)

Понятие «интеллигенция» придумано, воспето и существует только в России, нигде в мире его нет, и никто там не знает, что это такое. Здесь же интеллигентами были и рюрикович Толстой, и таганрогский мещанин Чехов. И Семёнова есть, значит.

Она рано (у нее все «рано»: она и Семёновой стала очень быстро! Гений возраста не знает!) решила про себя втайне, что жить для людей накладно (да и вообще жила всегда как-то страшно, подводно...), но мощный инстинкт художеческий и преобладание интеллектуальных интересов всё время удерживали в нужном направлении волю к действию!

Она есть последняя, на ком ещё можно уравнять «вселенскую кадушку»: КТО ЕСТЬ КТО, — и выяснится тогда окончательно, из какой она «тёплой компании» (с той

лишь разницей, что Шаляпин, Немирович, Русланова и Станиславский с Дорониной больше всего на свете любят искусство, а Толстой, Клюев, Семёнова, Платонов и Бруни с Поповой даже тяготятся им: им так легко всё давалось!).

Пот искусства — он очень дорогой пот, но ВСЯ ЕЁ ЭТА КОМПАНИЯ его никогда не знала и привыкла всю жизнь с неба звёзды хватать...

А она и есть «Станиславский» в том смысле, что это она ввела в классический танец эту обманчивую лёгкость, и все решили, что они легко могут быть Семёновыми!

«Влетела, — рассказывал мне кто-то, — в троллейбус с букетом роз, платье горохом, плюхнулась прямо посреди сквозняка, — и ничего-то у неё нет: ни давления, ни «сердца», ни старости, ничего... Чудесно!»

«НО КТО ТАМ В РОССОМАШЬЕЙ ЧУЙКЕ, В ЗАКАТНОМ ЛИСЬЕМ МАЛАХАЕ — КОВРОМ ЗАРЙ, МОНИСТОМ БАЯ ПРИКРЫЛ КУДРЯВОГО ВНУЧОНКА?!»

А кто скажет, что её изящная как статуэтка дочь — мать двоих сыновей, старший из которых недавно сделал её прабабкой?! И как это прекрасно после всех бурь ваших и вспышек, после всего пережитого сказать: «Приведите ко мне моих внуков» (как это вдруг, но буднично и привычно сказала она среди юбилейной домашней толчеи 30 мая) это потрясает.

Я знал других, тоже знаменитейших актёров, но которые всю жизнь прожили в лютом одиночестве, а она — легендарная балерина и самая великая актриса века — вечер своей жизни сумела не сделать старушечьим увяданием.

«ЧТОБ МОЛОДОСТЬ НА КОСОГОРЕ НЕ ПОВСТРЕЧАЛА СОРОК, ПУГАЛ МОИ ГОДА, ЧТО ГОНИТ ВЬЮГА НА ПОЛЮС ЛЕДЯНЫМ КНУТОМ».

Её милая дочь, приветствуя её, раздумчиво сказала: «И вот мне уже пятьдесят лет, а я...» — «Кать, тебе ещё не пятьдесят», — тут же бдительно встрепенулась Марина Тимофеевна.

Но тогда и ей не сорок — ей всего только тридцать девять! — «И никогда не будет больше тридцати девяти лет — ни на один день!».

Евгений Одинцов